



*Ирина Борисова*

# **Для молодых мужчин в теплое время года**

Повесть. Рассказы

Ирина Борисова

**Для молодых мужчин в тёплое  
время года. Повесть. Рассказы**

«Издательские решения»

## **Борисова И.**

Для молодых мужчин в тёплое время года. Повесть. Рассказы /  
И. Борисова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-835376-5

Книга «Для молодых мужчин в теплое время года» была написана большей частью в Ленинграде, а впервые издана в Санкт-Петербурге в 2006 г. Эта книга — вклад автора в изображение того времени, когда бесполезно было задавать вопросы, хотя сейчас, когда все так изменилось, ответов по-прежнему нет.

ISBN 978-5-44-835376-5

© Борисова И.  
© Издательские решения

## Содержание

Делать дальше	6
Конец ознакомительного фрагмента.	31

**Для молодых мужчин в тёплое время года**  
**Повесть. Рассказы**  
**Ирина Борисова**

© Ирина Борисова, 2016

© Михаил Борисов, фотографии, 2016

*Редактор* Наталья Нутрихина

ISBN 978-5-4483-5376-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Делать дальше

Электричка собирает нас на разных станциях. На Финляндском вокзале садится теперь Иван Семеныч. Как он изменился! Где доисторический плащ-болонья, ужасная кепка, стоптанные сапоги? Теперь он в беретике, куртке, джинсах со стрелочкой, лицо его добродушно-спокойно, он вползает в полупустой еще вагон, садится к окошку, ставит на скамейку огромный портфелище – единственное, что осталось у него от него прежнего, приваливается к стенке и мгновенно засыпает.

Электричка свистит, трогается, бегут за окошком несурзные постройками, вагончики, Семеныч спит безмятежно – в положенный срок его что-то толкнет, и он откроет глаза. На Пискаревке сегодня нет Марины, заходим мы с Толькой Федоренко, у Тольки видок, как после хорошего загула. Я сажусь, крепко обнимаю сумку, словно боясь, что кто-то отнимет, отворачиваюсь к окну. Толька расслабленно плюхается напротив, смотрит на меня со скукой, лениво закрывает глаза и, поерзав, поудобнее устроившись, дремлет.

Поезд идет малыми перебежками, то и дело останавливаясь и собирая еще народ.

Как всегда вместе в Ручьях по вагону идут, беседуя на ходу, Тузов с Игорем Бенедиктовичем. Они усаживаются, сыпя терминами «авроральный эффект», «петля Хеннинга». Бабка с корзинкой, наморщив лоб, долго слушает, потом, словно очнувшись, прикрыв ладонью рот, несколько раз подряд со стоном зевает.

В Мурино появляется Шура Азаров, спокойный, добропорядочный, проходя, смотрит ясными глазами, здороваётся, все, сразу чувствуя изначальный смысл, вложенный в его «здравствуйте», с энтузиазмом отвечают.

Их я ищу взглядом в Девяткино, где из метро, прицелившись, устремляется в вагон целая толпа. И вот Марина и Саша быстро входят в вагон. Они идут, и все свои – даже Семеныч проснулся до срока, тоже смотрят на них и, так или иначе, восклицают, приветствуя. Они идут – Марина впереди, Саша сзади, он несет ее ярко-красную сумку. Марина летит по вагону, и дремлющий озабоченный народ просыпается, во все глаза смотрит, а потом еще и оглядывается. Марина кудрява, блестят накрашенные под сумку губы, новенькое обручальное кольцо. Она идет не так, как другие, не озабоченно озираясь в поисках места, не затурканно глядя под ноги, автоматически повторяя ежеутреннюю операцию – зайти в вагон и приткнуться: она идет по вагону старенькой электрички, как по светящейся дорожке на сцене идет рок-звезда – с улыбкой, обещающей необыкновенное, с загадочностью, говорящей, что ей одной ведомо недоступное остальным, и пусть они помучаются, соображая, что же это такое.

Саша движется следом, еще больше косолапая. Они садятся, конечно, рядом со мной – я, Марина, Саша. Саша за руку здороваётся с Толей, кашлянув, говорит «здравствуй» и мне.

– Почему не пришла? – спрашивает Марина.

– Федька что-то кис, – отвечаю я.

– Могла бы, – машет она рукой и умолкает, мы трое сидим рядом и смотрим в разные стороны, Саша печально, я – хмуро, Марина, будто оперевшись взглядом в невидимую стенку. Толька смотрит на нас.

Эти три фразы – «Почему не пришла? – Федька что-то кис, – Могла бы», – мы сказали друг другу стерто, не вкладывая никаких интонаций. А теперь вот молчим, она сидит рядом, и что теперь говорить, надо как-то привыкать всем нам троим, все равно друг от друга никуда не деться. Может, и в самом деле привыкнем, мы с Федькой начнем ходить к ним в гости, Федька будет играть с их уже родившимся младенцем, и за нашими словами не будет ни других мыслей, ни ковыряний, ни обид. А пока в голове какой-то хаос – я опять замечаю, как насмешливо смотрит на нас охломон-Толька, как Бенедиктович, обернувшись, кричит Саше через полвагона: ох, и вольют тебе сегодня, новобрачный! Я волнуюсь, что они опять затеяли,

но вспоминаю, что сцепляться с Бенедиктовичем теперь должна вроде не я. А она сидит рядом, молчит, что она думает, разве я знаю?

Я никогда это точно не знала, только делала вид, говорила: тебе лишь бы изобразить из себя, чтобы все упали! Она в ответ обличала: а ты – карьеристка, записная отличница, клещ!

Когда мы начали дружить, отличницами были мы обе. Это был пятый класс, Варвара, наша классная, посадила нас вместе – она рассаживала всех, как ей хотелось. Марина была заносчивая, держалась особняком. Варвара любила ее за необычные, не по учебнику ответы, мне же в них чудился еще и вызов – у вас всех нет своих мыслей, а у меня есть. Однажды нам задали выучить любимое стихотворение, а до этого задавали «зима, крестьянин, торжествоя...». У пятерых вызванных любимым оказалось именно оно – кому охота было учить лишнее, тогда Варвара вызвала Марину. Марина прочитала басню Михалкова про зайчонка и волка, и мораль была: «Мне жаль зайчат, вступивших в НАТО!» Это было до того нелепо, что даже Варвара крякнула, поставила пятерку и не сказала свое обычное: «Вот видите, как надо готовиться!» Марина гордо прошла за парту, я подумала: ну, и дура...

Но она оказалась вовсе не душой. Мы хохотали, стиснув зубы, когда Марина точным движением мизинца изображала Варвару, раскачивающуюся у доски. Однажды Варвара подозвала меня и сказала: «Ты, конечно, знаешь, что у Марины умерла мама?» Я не знала, на уроке Марина была такая как обычно, разве не хохотала, но не каждый же день хохотать. – Вы дружите, – продолжала Варвара, завтра похороны, можешь не ходить в школу, побудь с Мариной. Я открыла было рот, но Варвара смотрела так убежденно, что я кивнула, отошла, задумалась. Я ужаснулась, что мамы вот так просто умирают – Маринину маму я еще недавно, кажется, видела во дворе – высокая женщина с надменным лицом гуляла с собакой. Я думала, как же Марина теперь будет, я нашла ее взглядом – она одна стояла у окошка. В сердце у меня что-то повернулось, мне захотелось подойти, сказать, я уже пошла, но она обернулась, посмотрела холодно и колюче, и я, опустив глаза, прошла мимо. Вечером я звонила в дверь незнакомой квартиры, открыла Марина, в косы ее были заплетены черные бантики. – Пошли гулять, – неуверенно сказала я. – Я не пойду, – удивленно подняв брови, ответила она. – А завтра хочешь я к тебе приду? – сдавленно предложила я. – Зачем? – уже почти враждебно спросила Марина. На следующий день я приплелась в школу, и Варвара, поджав губы, укоризненно покачала головой.

И все же мы подружились – Марина с лету ловила любую хорошую идею, и добавляла десяток сопутствующих. Наделав как-то из глянцевого картонки визитных карточек и напялив прямо на пальто немислимые бусы, мы на скверном английском умоляли прохожих помочь заблудившимся иностранным школьницам добраться до гостиницы «Россия». В этой дружбе не было места моей детсадовской подруге и соседке Оле – одно из самых ранних, мучительных моих воспоминаний, как мы втроем стоим у дырки в заборе, лепит снег, Оля, просто душно улыбаясь, пересказывает какой-то детский фильм. Марина, язвительно выслушав, не глядя больше на Олю, неожиданно спрашивает у меня: правда, стыдно увлекаться такой ерундой? Я знала, сама она читала тогда «Тэсс из рода «д'Эрбервилей», ее уже не интересовали пятерки, она обрезала косы, взгляд ее стал по-взрослому рассеянным, дома она пресекала попытки мачехи заменить ей мать. Марина смотрит насмешливо, ждет ответа, и я мямлю, что хотя вообще-то каждый увлекается, чем хочет, фильм, конечно, не фонтан. Оля, огорченно взглянув на меня, опускает глаза. Мы с ней идем домой, обе чувствуем трещину, я что-то говорю, чтобы затушевать. На следующий день я, придравшись к пустяку, ссорюсь с Мариной и не отхожу от Оли, и так продолжалось еще очень долго – с Мариной я делала то, о чем потом не могла без стыда вспоминать, бунтовала, злилась, не находила нужных слов, и перевес был всегда на ее стороне.

Электричка подъезжает к станции, и все происходит, как всегда: битком набиваются тамбуры первого вагона, двери открываются, со смехом, вскрикиваниями несется народ в куртках,

вязанных шапочках, с большими сумками, перебегая пути под самым носом у поезда, стремясь скорее занять места. Автобусы и крытые грузовики заполняются, двери захлопываются с трудом, режут моторы, автобусы трогаются, «Уралы» следом, сидящие снисходительно провожают взглядами оставшихся – бедолаги пойдут по шпалам, транспорта не хватает.

Десять минут по лесной дороге мимо теснящихся на косогорах сосен, мимо лесного озера. Автобусы подъезжают к железным воротам, за которыми пространство под названием «объект 31». Толпа скоро потянется по уводящей в поле широкой дороге, ее проводит указатель с надписью «дом №1». Игорь Бенедиктович с Шурой, Толя, Иван Семеныч, Марина, Саша, я свернем по лесу налево по стрелке «дом №2».

И вот одноэтажный домик – длинный коридор, комнаты, набитые техникой – здесь и машины, и приемники, и самописцы. Иван Семеныч, не раздевшись еще, сразу идет на кухню – крошечную комнатку с электроплитой – поставить чайник. Бенедиктович, увидев, говорит: нет, чтоб так вот сразу за работу – ох, разгильдяи! Но в голосе его нет металла – скорее ворчливое умиротворение – и Иван Семеныч, чувствуя, добродушно улыбается и бормочет: надо, надо чайку.

И скоро мы все сидим с чашками в машинном зале. Сколько шумных чаепитий здесь было, когда на призывный клич Ивана Семеныча из всех концов сходились с чашками, выкладывали на стол и двигали к середине кто кулек с пряниками, кто пирожок, рассаживались на стулья, на приборные стойки, пили чай. Сейчас мы сидим и молчим, только потрошим остатки Марининых свадебных тортов, неторопливо подливаем чаю. Иван Семеныч так и светится от радости, надеется, значит, поговорить с народом. Сейчас чаепития стали затягиваться, раньше было всегда некогда, с утра чай пил тот, кто не завтракал, на скорях, ну, и конечно, Иван Семеныч. Сейчас чай пьют все, сидят долго, лениво перебрасываются фразами, и Саша тоже сидит, рассматривая табло синхронметра, ковыряя какую-то зазубрину.

– Вот, Мариночка, теперь у вас с Сашенькой семья, – любуясь Сашей, улыбается Иван Семеныч. – Началась у вас новая жизнь...

– Совсем как у тебя, Семеныч, – вставляет Толька.

– Да что ж, вот и у меня тоже, конечно, – соглашается Иван Семеныч, но его прерывает Бенедиктович.

– Я тебе в вагоне говорил, – поставив чашку на стол, миролюбиво обращается он к Саше. – Ким накатав телегу про ночные смены. Никто тебе не разрешал оставлять людей на ночь, знаешь ведь приказ.

– Эксперимент надо завершить? – продолжая ковырять зазубрину, тихо отвечает Саша. – Ночные данные мне надо получить?

– Нужен сейчас твой эксперимент! – фыркает Игорь Бенедиктович. – Все только и ждут твоих ночных данных!

– Все – это вы что ли с Тузовым? – подаю голос я из-за перфоратора. – Бенедиктович с интересом смотрит на меня, на Сашу, на Марину. Я, стараясь смотреть нахальней, выдерживаю этот его взгляд и еще прибавляю: – Только и стараетесь сорвать работу. Уж не знаю, зачем вам это так нужно?

– Адвокат-то у тебя прежний, – говорит Игорь Бенедиктович. – В общем, пиши объяснительную Тузову! – он встает, забирает чашку, смотрит на часы, все понимают, что чаепитие окончено, поднимаются и начинают разбредаться по комнатам.

Саша остается сидеть на месте, к нему подходит Шура Азаров.

– Саша, – говорит он, глядя Саше в глаза. – Понимаешь, какое дело, мне в пятницу Тузов предложил тоже участвовать в экспедиции. Я согласился. В общем, с сегодняшнего дня я – в первом доме.

– Так, – говорит Саша, ставя чашку на стол.

– А вместо тебя кого-нибудь дадут? – сразу спрашиваю я.

– Не знаю, – виновато пожимает плечами Шура. – Мне Андрей Николаевич не говорил...

– Ясно, Шура, все ясно, – бодро говорит Саша. – Все же понятно, кто же откажется.

– Ты, Саша, извини, – опустив глаза, говорит Шура.

– Он, конечно же, извинит, – зло говорю я. – Да ты не переживай, Шура, топай в свой первый дом, топай.

– Эх, Надежда... – качает головой Шура, стоит еще какое-то время молча, потом машет рукой и уходит.

Мы остаемся в комнате вдвоем, я и Саша, я говорю: машина ломается через день – кто же будет чинить, требуй у Тузова замену!

– Кого мне дадут, все хорошие машинисты уезжают, разве Павлика, а что с него толку?

– Хоть и Павлика, – говорю я. – Меня к нему подключишь, я разберусь, может, и научимся чинить!

– Да, вы с Павликом почините, – усмехается он, и нет жизни в его усмешке, все так не похоже на то, как было раньше: он убежденно говорил – я слушала, он объяснял, я кивала. Еще он произносил много-много новых и трудных слов, я старалась уложить все это в голове. А попутно мы смотрели друг на друга, он – на меня, я – на него, позже я спрашивала: Сашка, ты когда в самом начале объяснял мне программирование, ты о нем только думал, когда говорил и смотрел ТАК на меня?

– Как ТАК? – удивлялся он. – А ты как на меня смотрела, когда я тебе безусловный переход объяснял? По-моему, с пониманием?

– Врун, – возмущалась я. – Прекрасно же знаешь, о чем я говорю!

– Ей-богу нет, ну, объясни!

Объяснить это было невозможно, я с таким трудом воспринимала говоренное им, потому что мысль моя то и дело ускользала, я думала о том, что вот мы сидим у машины, и всем, вроде, кажется, что заняты делом, и на каком-то уровне так оно и есть, – обсуждаем программу, и все же мы заняты совсем не этим: он смотрит, будто говорит: – Надо же, какая, и откуда это ты такая?... и я на него: – Да, такая. А что тебе до меня? – А он потом не признавался, и ведь он никогда не лгал, значит, или я по-бабьи выдумала этот особенный взгляд, или все-таки что-то сидело в Саше подсознательно, и я почувяла и пошла в атаку.

Я вспоминаю, как увидела его в этой комнате, когда мы с Мариной впервые приехали на работу после распределения. Он сидел на корточках здесь же, у синхронметра, а потом, не видя еще, ужасно громко заорал: – Шура! Тяни за синий! – они протягивали с улицы кабели, подключали машину. Потом он обернулся, увидел Марину и меня, смутился – и был он в рваных ватных штанах и ватнике – погода стояла холодная, противная, дождь со снегом. – Здравствуйте, – сказал он. – Вы к нам в сектор работать, да? Молодые специалистки? Отлично! – Что отлично? – принялась сходу Марина. – Что молодые, или что специалистки? – Что к нам в сектор, конечно! – вылез тут же из-за машины во все свои прекрасные рост и стать Анатолий Борисович Федоренко, с удовольствием рассматривая Марину, и я сразу обрадовалась его выходу, обрадовалась, что Марина моментально переключилась на несомненно интересного мужчину Анатолия Борисовича, и удивилась этой своей радости, потому что давно уже мне тогда не приходили в голову никакие мысли в этом плане, совсем иные были проблемы с Федькой.

Когда я окончила институт, Федьке было пять лет. Моя личная жизнь в институте развернулась и свернулась необыкновенно быстро – мы познакомились на картошке, Алик играл на гитаре, яростно пел. Все было необыкновенно, то, что рядом нет мамы, и я, если захочу, могу сидеть у костра все ночь напролет, близкие, словно южные звезды над морковными полями, Аликовы тревожащие глаза, и радость – значит, и во мне есть что-то такое... Встречаться мы стали уже в городе, я помню, все было трудно, мы выясняли отношения, он уходил, потом,

заплаканный, звонил в нашу дверь чуть не в шесть утра, удивленная мама будила, я одевалась, шла на лестницу, мы целовались, целовались, мирились.

Я помню морозный запах его тулупа, гулянья по сугробам Новодевичьего кладбища, его слезы на своих щеках, поцелуи, стоянья в магазинах, в подъездах, молчаливое сиденье в морозницах. И потом, несмотря на долгое родительское негодование – свадьба на первом курсе, переезд в бабушкину квартиру, и скоро – ссоры, ссоры, долгие молчанья, короткие примиренья, и опять. Мы разошлись, когда Федьке было полтора года, и все так стремительно случилось, что, казалось бы, ничего и не было, если бы не Федька, новый человек, появившийся у меня, такой веселый и толстый в тот год моего сиденья в академке...

Он был веселым и толстым до трех лет, пока однажды я на него сильно не рассердилась, не закрыла в наказание в комнате, а он не стукнул, плача, по дверному стеклу, весь не поранился и сильно не испугался. Если бы не было всех этих «не», может быть, он не заикался бы так ужасно к пяти годам, как это сделалось с ним, когда я вышла по распределению на работу. Тогда в моей жизни все сдвинулось – Федька почти не мог говорить, и логопед, к которому мы ходили каждый день, не давал никаких обещаний.

Я хорошо помню тот вечер – один из похожих друг на друга, как две капли, вечеров. Я сижу среди других мам у трансформаторной будки на доске, положенной между двумя ящиками. Мамы вяжут, читают, болтают, покрикивают на ребятишек, просто греются на солнышке – я тоже периодически вступаю в разговор, потом, задумавшись, молчу, отвечаю невпопад. Я смотрю, как стая ребятни, бешено крутя педали, носится туда-сюда по полоске асфальта на низеньких велосипедиках с толстыми шинами. Федька тоже на велосипеде, я с удовлетворением отмечаю, что он научился – разве чуть отстаёт. И все же он хотя бы катается со всеми, покраснелся и громче всех хохочет, когда кто-нибудь из мальчишек постарше выкинет вдруг на лету какой-нибудь особенный дурашливый фокус.

Я с сожалением оттягиваю время, когда надо будет звать его домой, наконец, зову. Я заношу велосипед и, придерживая дверь, встречаюсь с Федей глазами, улыбаюсь: – Хорошо погуляли? – Он, взглядом и мыслями еще на улице, улыбается в ответ, но, сильно заикаясь, никак не может сказать: – Х-хх... – Лицо его тут же делается капризно-злым, он топает ногой, вскрикивает: – Н-ну!, ожесточенно смотрит на меня: – Н-не с-с-с-п-... – что значит – «не спрашивай». Я пожимаю плечами, будто говоря: – Подумаешь, какие пустяки! – машу рукой, мол: – Брось ты!, захожу в лифт, мы едем – Федя впереди, я – сзади, я смотрю сверху на стриженую макушку, и плечи подымаются в глубоком, но бесшумном, утопленном в себе вздохе.

Мы приходим домой, я с энтузиазмом говорю: – Федя, раздевайся! Раздевшись сама, повторяю: – Раздевайся, Федя! Говорю еще пару раз с кухни: – Федя, ты меня слышишь? Федя стоит, привалившись к стенке, как был – в куртке, в ботинках, не обнаруживая никакого стремления что-то в этом изменить. Лицо его задумчиво, он весь далеко-далеко. Я выхожу с кухни, открываю было рот, но, сдержавшись, расстегиваю ему пуговицы, стягиваю куртку, снимаю штаны, ботинки, и, будто сразу очнувшись, переступив через штаны, он прямым ходом идет в комнату к конструктору. – А руки мыть? – кричу я ему вслед. – С-с-ч... д-д-до-дд... к-к-кузз... – бормочет он, что значит «сейчас доделаю кузов». – Да куда такими руками? – возмущаюсь я, подхожу к нему и тяну в ванную. – Да к-к-кузз!... – орет он, я тяну, он орет, я запикиваю его под кран, он, смирясь, мылит руки, норовит поскорее смыть пену, тянется руками в грязных еще разводах к полотенцу. Я выхватываю полотенце, толкаю его снова к крану, мою ему руки сама, вытираю тоже сама. С кухни доносится шипенье бегущего из кастрюльки молока, я кидаюсь, ахаю: Вот, все из-за тебя, паршивца, никогда сам ничего, как следует, не сделаешь! При этом из комнаты слышен стук развалившихся кубиков, Федин визг: Н-ну!, истошный рев: – С-с-сломм-м...!, грохот чего-то брошенного, топот по коридору, и вот уже он на кухне, с искаженным от гнева личиком замахивается кулаком и под моим укоризненным взглядом, упав на пол, безутешно и горько плачет. Бросив тряпку, я подхожу к нему: – Ну

ладно, ладно! – поднимаю его. – Ну, что у тебя там сломалось, пошли посмотрим! – Полчаса мы вместе восстанавливаем развалившийся грузовик. Поставив последний кубик, я, взглянув на часы, ахаю: – Девятый час! – тащу его ужинать, и минут через сорок, он, кажется, уже спит. Я захожу к нему поправить одеяло, недолго смотрю на него, спящего, опять возвращаюсь на кухню с кучей неглаженного белья и, работая утюгом, принимаюсь думать свою нескончаемую думу.

В это время звонит звонок. Я открываю – на пороге Саша. Он обещался мне как-нибудь зайти починить телевизор, и вот зашел, а разговор был только сегодня.

У него озабоченное лицо, мне кажется, ему неловко, что он так быстро прискакал. Он раскрывает портфель с тестером, снимает с телевизора крышку и, усевшись на корточки, принимается копаться в лампах. Я пока глажу, украдкой поглядывая на его спину – футболку, чуть полноватые голые руки, коротко стриженный затылок, гибкую, как кусок удава, шею.

Потом мы впервые пьем чай на моей кухне, он больше молчит, на меня же нападает безудержная говорливость. Он мерно кивает, покусывая губы и слегка раскачиваясь, как бы припечатывает все сказанное мною, фиксирует, складывает в мозаику. В этом убедительном кивании – что-то, вселяющее надежду: вот сейчас он сложит свою мозаику, окинет взглядом, скажет: – А делать-то тебе надо вот что... Я рассказываю не самое важное, не такое, что так хотела бы, но не могу еще рассказать. Я описываю поликлинические мучения, устройство в логопедический садик, когда смотришь в лживые, наглые глаза, знаешь, что в логопедические группы берут бластных детей просто так, без нужды, потому что бесплатно, и условия – не сравнить.

Я рассказываю Саше, как Федька тянется к ребятам, но подходить не хочет из гордости, чувствует уже, что не такой, ждет, когда к нему подойдут. Я умолкаю, сдерживая такие быстрые тогда слезы. Саша смотрит, и, мне кажется, в его взгляде тепловые какие-то лучи, хочется расслабиться, зажмуриться и подставить лицо, как солнышку. – Ничего, – говорит он. – Все это, вот увидишь, пройдет. Вот мы сделаем с ним электромоторчик...

– Ты думаешь? – робко спрашиваю я, сомненье всегда сидит во мне неотступным кошмаром, и мне так хочется верить – Саша ведь никогда не говорит ничего пустого и лишнего, того, что принято, что так часто говорят люди.

Потом он долго рассказывает про свою станцию возвратно-наклонного зондирования, и это первый образец модели «он говорит, я слушаю и киваю», а теперь, когда мы остается в комнате вдвоем, модель уже другого образца – «я говорю, он ковыряет зазубрину». В комнату входит Марина, я умолкаю, Марина говорит со смешком:

– Что шарахаешься? Я же знаю, что вы про работу! Давай, я, может, тоже приму участие.

Мы молчим, лицо ее делается отстраненно скучным, как в обществе шизофреников. Саша снимает куртку с вешалки: – Пошел к Тузову. – Ни пуха, – говорю ему вслед я.

Я смотрю в окно, как он идет, опустив голову, по той же дорожке, по которой только что ушел Шура Азаров и другие – раньше, по дорожке, куда уткнуло и уплыло все Сашино, и вот он тоже идет по ней – не так, как другие, не радостно, вприпрыжку, не смирившись, но на очередной поклон.

Ему придется заходить в кабинет, где в обычном окружении руководителей групп восседает ни в коем случае ни Андрюха, а начальник отдела Андрей Николаевич Тузов. Все обернутся и замолчат, Саша спросит насчет машинистов, Андрюха выдержит паузу, а потом скажет что-нибудь отечески-покровительственное, объясняя упавшему с Луны подчиненному всю важность и срочность экспедиции, государственный масштаб, народно-хозяйственное значение, а, следовательно, нелепость притязаний. Тузовские прихлебатели будут насмешливо пялить глаза, жалко, что не принято у них там лузгать семечки, заплевали бы весь пол.

Кто-нибудь, конечно, пошутит в такт. Саша не поднимет глаз, стыдно будет за Андрюху, за себя, за всех присутствующих, попросит, наверное, еще: – Дай мне хоть кого-нибудь.

Андрюха орать на Сашу пока еще не смеет, снова разъяснит и никого не даст.

Вот так все оно и будет, и пойдет Саша обратно в наш домик №2, и будет работать до первой неисправности машины. В общем, неизвестны только сроки и подробности, исход – налицо.

Я оборачиваюсь к приемнику, синхронметру, передатчику, высокочувствительному блоку, разработанному Сашей – самой главной частью нашей станции. Сколько всякого было среди этих железных ящиков: Сашина первая лекция про возвратно-наклонное зондирование и связанные с ним проблемы – особо мощный передатчик, высокочувствительный приемник. Эти проблемы в станции решались, – имелось новенькое свидетельство об изобретении. – Покажи авторское! – пристала я, когда мы с Федькой пришли к ним – Саше и его маме. Он нехотя вытащил из папки, сунул мне как-то сбоку, отвернулся. Я, шевеля губами, читала, Федька трогал красную полоску. – Да ладно рассматривать, подумаешь! – фыркнул Саша, потянул бумагу и быстро ее запрятал. Он сделал это небрежно, не придавая будто этой бумаженции никакого значения, но я-то видела – он отворачивался, потому что улыбка морщила губы, его распирало от радости, когда он смотрел на эту бумагу, он стеснялся своей радости, а скрывать не умел, я всегда все видела по нему, и мама его, конечно, тоже.

На следующий день он пришел на работу хмурый, опять прятал глаза, но радости в них уже не было. Я поняла – помнила, как изо всех сил улыбалась его мама, как натурально не замечала Федькиной почти немоты. Я подумала: хорошо, этого я и хотела, вчера только боялась, что, заимев что-то еще, я отниму у Федьки. И я забормотала про себя: все правильно, все хорошо! И не сразу поняла, что бормочу, чтобы не реветь.

Я и сейчас готова забормотать, но замечаю вдруг, что в комнате у соседнего окна еще стоит и курит Марина. Я совсем забыла про нее, а она стоит и курит в машинном зале, где курить нельзя, я ничего не говорю ей, усаживаюсь у другого окна и жалею, что не курю – что-нибудь такое сейчас, наверное, тоже неплохо бы делать.

– Ну, что, довольна? – спрашивает Марина. – Сломила гордыню?

Я пожимаю плечами: какая, интересно, у меня, по ее мнению, гордыня, что я должна была сделать – плеснуть ей кислотой в глаза или выкинуться из окошка? Гордыня всегда была у нее, я помню, как она собралась на четвертом курсе замуж за кудрявого ясноглазого сына каких-то сиятельных родителей, и уже была назначена свадьба, и я побывала на предшествующем свадьбе торжестве, во время которого в центре бального, иначе не назовешь, зала в огромной квартире танцевали Марина и ее высокий жених, и Марина, закинув кверху голову, пристально смотрела в глаза жениху, изображая смертельно влюбленную женщину, жених сиял, а по углам толпились и одобрительно шушукались родственники. А через неделю Марина, беспечно бросив сумку на парту, сказала: – Я передумала замуж, не могу я с этим дураком. – А как же все остальное? – поразилась я, потому что Марина долго вынашивала идею дающего перспективы замужества. – Никак, – усмехнулась она. – Что делать, если не лезет...

Вот и теперь она стоит и курит, хоть и нельзя не только залу, но и ей – всегда была упрямой саботажницей, а я всегда была лишь послушной девочкой, отличницей.

Я помню, как получив в первом классе первую отметку четверку, и по дороге домой из школы, держа за руку маму, подняв к ней голову с тощими косицами и огромным бантом, глядя ей в глаза вопросительно-чистым взглядом, я сказала: – Получила сегодня четверку. Это ведь хорошая отметка, правда? – Плохо дело, – покачала мама головой, – уж первой-то оценкой должна быть пятерка, с четверки быстро скатишься и на троечку.

Но нет, я, наверное, лукавлю, сваливая все на маму, вопрос мой был задан неспроста, уже сидело во мне беспокойство, хорошо ли, что я получила пусть достойную, но не лучшую оценку. Это было с детства сидящее во мне стремление к заданному абсолюту, может, оно вылезло из эгоизма единственного, позднего ребенка, привыкшего иметь все самое лучшее. Я получала пятерки и испытывала удовлетворение, что в моей жизни пока все идет, как надо:

такое же удовлетворение испытывают люди, остановившиеся в метро как раз против нужных дверей нужного вагона, из которого ближе всего будет идти на выход.

Но если в метро, по крайней мере, быстрее попадешь, куда тебе требуется, то пятерки я стремилась получать лишь потому, что это считалось хорошо и правильно. То же было и в институте – я не бог весть как интересовалась своей инженерной специальностью, но до самого рождения Федыки работала на кафедре – из-за денег, конечно, но в немалой степени и из стремления углубить свои знания, мне и тут никак нельзя было упустить возможность делать то, что считалось хорошим и полезным.

Я смотрела фильмы, о которых говорили, не пропускала ни одной нашумевшей выставки. Мне надо было и в Филармонию, и в театры, а когда родился Федыка, надо было носиться с ним в бассейн – плавать раньше, чем ходить, как советовали в книгах. Энергии у меня было хоть отбавляй, и еще было презрительное раздражение ко всему вялому, несобранному, ни к каким абсолютам не стремящемуся.

Алик однажды на первом курсе, на скучной лекции по физике написал стишок: «Учеба мне не уху, работать лень, и поступил я в ВУЗик в весенне-летний день». Он любил устроиться с гитарой на диване и напевать под нос что-то из Битлов, любил посидеть в кафе, пройтись по Большому проспекту. Я вспоминаю свой выжидательный взгляд, так часто обращенный к нему, и его – ответный, сначала – безмятежно-спокойный, потом – напряженный, в конце – упрямо-злой. Идея наших ссор всегда бывала одна: мне от него вечно было что-то надо, он изумлялся: – Что тебя все разбирает, посиди ты спокойно! Но сидеть спокойно я не могла, мне надо было, чтобы и он носился, обуреваемый жаждой деятельности, чтобы и у него горели глаза, и того же я, наверное, подсознательно ждала и от маленького Федыки.

В голове у меня сложилась идеальная модель семейной жизни – увлеченный Делом, но не забывающий и о Доме муж, занятая и Домом и Делом жена и любознательный, смысленный, спортивный ребенок. Все, что отклонялось от этой модели, а отклонялось практически все, что не касалось жены, выводило из себя, раздражало.

Алик учился, спустя рукава, к Федыке проявил самостоятельный интерес лишь однажды, пытаюсь разобраться, есть ли у того музыкальный слух, и, решив, что – нет, продолжал флегматичные гулянья до песочницы и обратно, прихватывая с собой магнитофон. Он с тоской в глазах встречал домашние дела, вечно копил в раковине гору грязной посуды. А Федыка не блистал любознательностью, не выучивался читать в три года, не проявлял никакого интереса к развивающим играм. Это все уже открылось без Алика, когда мы остались с Федыкой вдвоем, и вся моя энергия обрушилась на ребенка.

Я заставляла его собирать игрушки – приучала к порядку, учила и тому и другому. Все, что я делала с Федыкой, я делала для чего-то: зарядку, чтоб был здоровый, читала, чтоб был интеллектуальный, закрывала в комнате, чтоб слушался.

А он поранился и стал заикаться. И я, словно свалившись с беговой дорожки в заросший бурьяном овраг, шлепнулась в недоумении, обалдело вытаращив глаза. Инерция бега давала себя знать, я кинулась по врачам, чтоб быстренько все выправить и продолжать дальше. Быстренько не получалось, и возникло сомнение, получится ли вообще. И ночь за ночью, месяц за месяцем, год за годом я, как корова жует свою жвачку, думала нескончаемую думу, и рушились все мои идеальные модели.

Я вспоминала штрихи, ранее не замечаемые – Алика, обреченно листающего конспект по электродинамике, и его внезапный вопрос: – Слушай, а что, если бросить все это и рвануть в музыкальное училище? – Лучше в цирковое, – поддержала я, и он сразу опустил глаза и замолчал. Я вспоминала, как заперла тогда трехлетнего Федыку, потому что он опрокинул табуретку и не стал поднимать, как он стучал и плакал, а я пошла себе зачем-то на кухню.

Я не любила танцевать с ведущим меня партнером, я любила, когда танцуют по одному, и можно творить, что хочешь. Я натворила, я должна была за все расплатиться сама, а распла-

чивался малыш, с которым неинтересно стало играть детям. Я натворила, слепая, глухая угнетательница, страшной всего было то, что я не знала, как остановиться, какой сделаться другой.

Я осознала вдруг, что всегда жила, как, мне казалось, надо жить, и хотелось мне всегда того, что, якобы, где-то записано, должно хотеться. И я уже не знала, как можно по-другому, каким своим собственным теперь заполнить выхоленную оболочку. Я клялась быть хотя бы терпеливой, и никому не мешать, но все ночные клятвы днем забывались, был институт, врачи, спешка, я срывалась, дергала Федьку, потом каялась, жалела его, баловала, это было еще хуже. Я шарахнулась в другую сторону, Федька превратился в маленького тирана. И когда я уже не надеялась выкарабкаться, явился Саша, сказал, что все у Федьки пройдет, взялся строить с ним каждый вечер самоходные машины и моторы, и у Федьки, и в правду, потихоньку и незаметно пошло на улучшение.

Мы с Федькой, наверное, просто вышли из цикла. Вечерами мы теперь ждали Сашу. Моя энергия пошла, наконец, в дело – я с радостью занялась программированием – это были не отвлеченно-бездушные институтские науки, здесь еще была и цель – чтобы одобрил Саша. Да и помимо этой корыстной цели мне было интересно работать на машине – простое знание приемов позволяло делать такие разные игрушки – законченные, самостоятельно работающие подпрограммки – это на первых порах, и большие, уходящие из-под контроля программы, запустив которые, я удивлялась – неужели это, такое независимое чудище, началось когда-то с одной, написанной мною строчки.

Я смотрела в окно, как качаются уже пооблетевшие кроны берез, как качается противовес нашей антенны. Монотонно качается, трос скрипит, будто кричит какая-то печальная птица. Из-под противовеса выходит Иван Семеныч с огромным грибом в вытянутой руке, он торопливо перепрыгивает канаву, тряхнув кругленьким животом, победительно держа гриб, шествует по буеракам через полянку.

– Вот, Наденька, видишь какое чудо? – улыбается он, входя, протягивая гриб. Гриб, и в правду, колоссальный, старый подосиновик, настоящий монстр.

– Да он, небось, червивый, Иван Семеныч! – пытаюсь я придать голосу энтузиазм.

– Ну и что, что червивый, посмотреть на него, и то ведь интересно, правда, Мариночка? – оборачивается Иван Семеныч к Марине. Марина молчит, не устаивая, из-за двери, потом с порога вдруг раздражается крик Бенедиктовича: – Где Петров? Где его черти носят? – Семеныч, как всегда, подставляется:

– К Тузову Сашенька ушел, Игорь Бенедиктович...

– К Тузову? – распаляется Бенедиктович. – А утрясать мне? Ким сейчас придет с актом!

– С каким актом, Игорь Бенедиктович? – интересуется Семеныч.

– Ну, вы вообще! – театрально разводит руками Бенедиктович. – Весь объект знает, мои идиоты впервые слышат! По всему объекту ночью работать запрещено – этим придуркам – режим нарушить – плюнуть!

– Вы бы унялись немножко, а? – предлагаю я.

– Я уймусь, – неожиданно спокойно соглашается Бенедиктович. – Я подпишу акт, пусть сообщают в режим.

Бенедиктович плюхается рядом с Семенычем, ищет по карманам папиросы.

– Чего орешь, Бенедиктович? – всовывается в комнату Толька.

– Сейчас Ким придет акт составлять, – с удовлетворением обещает Бенедиктович. – А мне ничего не будет, пусть Петров расписывается, раз самовольно!

– Может, хватит уж ему? – Толька миролюбиво протягивает Бенедиктовичу пачку.

– Пусть имеет, раз дурак! – усмехается Бенедиктович.

– Не трогайте мужа! – вступает за Сашу Марина, одновременно разглядывая в зеркальце нос. – Он-то как раз умный, сами вы дураки!

– Дурак, дурак, – понаблюдав за Мариной, – итожит Бенедиктович. – Умный давно бы вместе с Тузовым сколачивал сундучок.

– Ну, извини, тут я его понимаю, – возражает Толька. – Приемник, и вообще, изобретение, Тузов у него, считай, свистнул? Пока Сашка вкалывал, Андрюха бегал втихаря, пробивал, а мог бы и Сашку спросить: как ты, Саша, если мы с твоим приемником откроем тропический заказ? Может, Сашка бы и раскололся?

– Жди, испортил бы все, – уверенно говорит Бенедиктович. – Андрюха с Сашкой еще с института... Все правильно, пробил, и тогда уже предложил участвовать.

– Еще бы! – фыркает Толька. – Идеальный руководитель – Андрюха, и начальник Андрюха. Участвовать! Я бы, вообще, в морду дал!

– Деньги-то за экспедицию все получают, – примирительно хлопывая себя по карману, усмехается Бенедиктович. – А кроме Тузова никто б такую поездку не пробил!

– Это-то конечно, – задумчиво соглашается Толька, – деньги такие больше нигде не заработаешь!

Они умолкают, представляя, наверное, что тоже заработали такие деньги. Толька разведенный, его не возьмут в экспедицию, у Бенедиктовича язва, а иначе они бы тоже хлопотали сейчас в первом доме, мастерили бы со всеми вместе на базе Шашиного универсального приемника станцию наклонного зондирования с улучшенными параметрами. Необычность ее лишь в том, что, не используя всех возможностей и на десять процентов, Андрюха приспособил Сашин приемник для исследования особенностей тропических трасс, и через пару месяцев приемную часть погрузят на пароход, и она поплывет в теплую экваториальную страну, а следом за ней, предвкушая все прелести международного перелета, двинется в аэропорт Андрюхина команда. Идея универсальной многоканальности уже всеми забыта. Сашин НИР обещал результаты минимум через пять лет, Андрюхина станция испытана уже через полгода. Пять лет сидения на месте, исследования ионосферы для разработки промышленной станции на возвратном принципе, и год в тропиках под пальмами. Совсем новая станция, каких нигде еще нет, обещающая прорыв в мировой науке и технике, и ординарная, наскоро сляпанная станция, зато в экзотической загранице. А заказчики – обычные люди с обычной зарплатой; их, конечно, греет идея создания уникальной станции для страны, но кто-то из них тоже, как Шура Азаров с двумя детьми вот-вот въедет в дорожный кооператив, и так ведь заманчиво съездить, привезти кучу денег и разом заткнуть все дыры.

Толька усаживается против Бенедиктовича, начинается дискуссия на любимую тему: где еще можно заработать много денег. Разговор вертится вокруг возможностей для людей без предрассудков, упоминается и содержание трех коров с продажей творога и сметаны, и сбор и продажа пропадающих плодов и фруктов с резюме «да только мы этого не умеем», и театр Моды, куда Марину приглашали манекенщицей, и при дружном оживлении переходит на догадки на тему «манекенщицы и их образ жизни».

Последнее время, когда с машиной перебои, и в доме нет работы, все часто собираются и подолгу говорят. Я замечаю и за собой это периодически накачивающее состояние повышенной болтливости, когда сидишь, как в параличе или в вате, не хочется ни думать, ни вставать, только пялишься на собеседника, знаешь уже заранее, кто что может сказать, и все равно слушаешь, как льется весь этот неосознанный поток, всегда одинаковый, разными словами все об одном и том же: о работе, о деньгах, о том, как можно где-то хорошо устроиться, о мужиках, о женщинах, о мужьях, о женах, и чем подробнее и раскованнее, тем больше находится, о чем говорить еще. Обсуждаются мельчайшие штрихи существования, выясняется, что живет так себе, неинтересно, и нет работы, чтобы заполнить пустоту. Саша не участвует, он сразу выходит в коридор и, примостившись на холодильнике, пишет программы для работы, предварительный этап которой кончается в этом году. Саша не осознал или надеется на чудеса. Продление Шашиной работы мешает полностью перепрофилировать отдел на тропические заказы,

то бишь на регулярные командировки за рубеж. К Новому году Тузов своего добьется, и мы вольемся в команду первого дома, а Саша смирится или уйдет, и я не представляю себе ни того, ни другого.

На дороге за поляной появляется движущаяся издалека фигура.

– Уже Саша идет, – думаю я, но нет, приглядевшись, узнаю берет и плащик, а еще ближе – смуглое лицо Кима, помощника Тузова по режиму. И этот еще идет исполнять свою функцию: на бронзовом восточном лице – всегдашняя полуулыбка – не поймешь, доброжелательная ли, насмешливая ли. Он идет, и, кто знает, что у него там в голове, с какой идеей он будет составлять акт – просто потому ли, что так надо, или с глубоким удовлетворением, или со злорадством – чтобы много о себе не понимали.

Он входит, улыбаясь, здоровается. Игорь Бенедиктович тоже расплывается, они жмут друг другу руки, как соскучившиеся друзья. Функционерский ритуал сейчас начнется, и Ким садится за стол, улыбаясь, оглядывая комнату, снимая беретик, приглаживая редкие черные волосы.

– Ну, что же так проштрафились? – спрашивает он, ласково глядя на Бенедиктовича, вынимая из папочки листик и ручку, с удовольствием нажимая на кнопку.

Ким – отставник; говорят, из армии его поперли за пьянку, говорят, в уборщицы на объект он нанимает по очереди своих любовниц, много чего еще говорят про махинации с объектовым имуществом, но эти разговоры за кадром, а наяву – всеведущая маленькая фигурка, неслышно возникающая там, где есть хоть какое-то отклонение от распорядка. Опечатали не в той последовательности дома – акт, вышел программист в лес проветрить голову, а заодно глянуть на грибы – тоже, остались на ночь люди работать без приказа – обязательно акт, нарушение! Ах, как приятно ему вытаскивать ручку и чистую бумажку, надевать очки в блестящей оправе, непривычной к письму рукой выводить в правом верхнем углу заветные слова: «Начальнику группы режима...» Как триумфально он рисует свои каракули, торжественным «Та-а-к!» обозначая значительность момента.

– А где же нарушитель ваш, Игорь Бенедиктович?

– Шляется, хрен его знает зачем, – машет рукой Бенедиктович. – Разгильдяй, я ему сто раз говорил. Посиди, Николай Иваныч, покурим.

Ким снимает и плащик, усаживается слушать, как там у Бенедиктовича что растет на даче. Беседуют милые, нравящиеся друг другу люди. Житейские проблемы, сад-огород. Обсуждают перед тем, как еще раз долбануть Сашу за то, что голова у него устроена немного иначе, ценности в ней сдвинуты, не о деньгах и власти, а о низком коэффициенте шума болит Сашина голова. Киму это, конечно, невдомек, для него Саша – просто неуютный Тузову, с которым вершит Ким свои неясные делишки, человек. С Бенедиктовичем иначе – Бенедиктович-то понимает, тоже в молодости учился в аспирантуре, но не сложилось, бросил, менял работы, был на Севере, теперь вот начальник сектора у нас, следовательно, знаток жизни, наставляет всех на путь. Что-то он, и в правду, в жизни понял, может быть, что нужен или блат, или хватка, как у Тузова, тогда пробьешься, а если нет ни того, и другого, прибивайся к силе, делай вид, изображай, в общем, функционируй, играй в игру, где все знают, за что борются, но говорят совсем другие слова, и посмотреть надо, с какими рожами. Бенедиктович тоже пытается красиво, как Тузов, говорить, не всегда у него выходит. Но уж пнуть как следует того, кто не играет, в этом нашему начальнику равных нет. Саша – брешь в обретенных Бенедиктовичем понятиях. Ему, по-моему, даже кажется, что Саша ведет какую-то более сложную, и поэтому нечестную игру, Бенедиктович ее не понимает, злится и мстит.

Противовес скрипит чаще, шумят и деревья, тучи, разномастные, ключьями, перегоня друг друга, лезут и лезут. Бенедиктович заливается соловьем, Марина стоит рядом, смотрит в зеркало теперь на брови, с удовлетворением отмечает: Видишь, уже выросли! – торжествуя, на меня смотрит. Она дает мне зеркало тоже посмотреться – знает, смотреть мне на себя после

нее – немыслимое дело. Я возвращаю зеркало, смотрю на нее – нос с горбинкой, круглый, нежный подбородок, кудри, кудри. Когда-то все это приводило меня в отчаяние, а теперь, когда я ловлю ее взгляд, он чаще вопросительный, чем восклицательный, она не может никак понять, почему я так отпустила Сашу.

Разве знает она, как мы ехали с Федькой от логопеда – это было еще до Сашиного к нам прихода, еще только на второй или третий день моей работы, и встретили Сашу на эскалаторе. Он поднялся к нам, поздоровался, кивнул назад: «А мы с мамой в Филармонию». Я оглянулась на его маму, тоже кивнула. – А м-мы с м-м-а-м-м... д-д-ом-м..., – вдруг услышала я, машинально договорила: – ...мой, – поразившись, что мой ребенок мало того, что так вот взял и заговорил, но еще и довел до конца почти всю фразу. Я не помню, о чем мы поговорили тогда с Сашей, о чем можно успеть поговорить на эскалаторе, но и Федька, и я, мы оба почувствовали, что Саша говорит с нами, и ему не совсем все равно, мы сейчас расстанемся, и он тут же не забудет, что мы встречались.

Другие, услышав только Федьку, сразу норовили отвести взгляд; Саша смотрел на Федю, как смотрят на детей не имеющие, но очень любящие их взрослые – как на неведомое существо, теплое пушистого котенка, и вовсе Саша не замечал Федькиной ужасной разорванной речи.

И когда мы расстались, мне почему-то показалось, что самое плохое в нашей с Федькой жизни кончилось, теперь все пойдет на лад. Я шла домой и обещала малышу что-то насчет лета и нового автомата, и говорила так вдохновенно, что и Федя что-то почувствовал, глазки его загорелись. Много еще было черных дней, но я всегда помнила, как мы, насидевшись в очереди, измотанные занятием, молча, понурившись, думая каждый о своем, брели с Федькой домой из поликлиники, и как потом, после Саши, я говорила, говорила, а Федька тянул ко мне бледное, изумленное личико, будто спрашивал: «Что, и правда разве будет у нас, как у всех ребят во дворе, а, мама?»

Эта точка отсчета, которой не знает Марина. Она не знает, как я почувствовала, увидев Сашу: – Вот, спасенье наше придет через него! – будто сошла на меня божья или какая другая благодать.

Саша стал бывать у нас почти каждый день, приносил Федьке железки – транзисторы, платы. Федька, наслушавшись наших разговоров, выдумывал и себе «п-п-риемник с в-в-ысоким ч-чувством». Новый логопед, появившаяся в нашей поликлинике, усталая растрепанная женщина с грустными глазами, скоро сказала мне: – Мальчик будет говорить, мамочка, только вы так не переживайте. И чем лучше у него шли занятия с метрономом, чем нетерпеливее он бежал открывать Саше дверь, и сразу показывал отвалившиеся от машины колеса, а Саша, не сняв еще ботинки, брал, вертел, соображал, как починить, тем чаще стал меня мучить один и тот же сон, вернее, страх во сне. Я просыпалась в ужасе, мне представлялось, что у Федьки опять все покатило вниз, и что-то плохое у Саши, все наделала я, и ничего уже нельзя исправить. Я просыпалась, соображала, что сон, вздыхала, и в моем вздохе было немного облегчения. Мне все время казалось, что этот сон вот-вот сбудется, что чудес не бывает.

Днем это проходило. Днем я, вроде бы, жила, как и те люди, которым завидовала, делающие что-то не по особой причине, а просто потому, что им так хочется. Марине хотелось, чтобы все восхищались, как она хороша, она улыбалась и кокетничала. Тольке хотелось расслабиться, он являлся на работу с крутого похмелья. Бенедиктовичу хотелось показать, какой он важный – он принимался орать. Я днем работала на машине, ругалась с Бенедиктовичем, обсуждала с Мариной какие-то платья, ехала домой с Сашей, бежала в садик, брала Федю, мы неслись в поликлинику, потом приходил Саша.

А когда я оставалась одна, я чувствовала, все повторяется, мне опять мало того, что есть, и ничего я не могу с собой поделывать.

Как напиральной ордой овладевала, наверное, жажда крови, а всякими рвущимися к престолом личностями – жажда власти, так меня начала одолевать жажда собственности. Едва

выкарабкавшись из ямы, почувствовав, что Саша и во всех общих разговорах ищет только мой взгляд, я, как та свинья, посаженная за стол, сразу начала забрасывать туда и ноги. Я вспоминала, как, подняв брови, с насмешливым любопытством спрашивала Сашу, собирающегося в командировку: – А что не на самолете? Боишься, что того? – Я спрашивала специально – знала, что Саша не любит самолеты, болезненно морщится, когда слышит, что там и там авиакатастрофа. Зачем я так спросила? Зачем я хвасталась, что скovyрнула родинку, зная о Сашином ужасе перед всякими такими вещами, а потом наслаждалась то ли тем, как он ругался и кричал: – Руки тянутся ковырять, то ли своей показной беззаботностью. Мне надо было мучить теперь его, потому что не получалось по-моему, он не делал того, что я хотела: каждый вечер к одиннадцати я уже знала и ждала – он хлопал себя пару раз по коленкам, качнувшись туда-сюда на диване, потом смотрел на часы, потом – на меня виноватым взглядом, и каждый раз я отвечала ему общепринятым кивком, делала такое лицо, что все я, конечно, понимаю, и одобряю, и знаю, что иначе нельзя, и говорила обыденные слова, но и я, и он чувствовали – весь этот сироп отдает химией. Я стояла в коридоре, он, присев, завязывал шнурки, я молча смотрела. Я хотела, чтобы он почистил зубы и остался, хотела утром выдать ему рубашку, командовать, велеть привести в порядок ботинки. Я хотела иметь возможность ввязываться в разговоры в очередях, вставляя: а мой муж ест то-то и то-то, но у Саши была мама, с которой он путешествовал в Филармонию, покупал ей приносимые на объект кофточки, бегал по городу, добывая сердечные лекарства. Теперь он регулярно звонил ей от нас, сообщал, когда придет, и по тому, как он не упоминал мое имя, вежливо-холодно говорил, я чувствовала – у них разлад, виной всему мы с Федькой. И, кинув взгляд на Федькины лопухие розовые уши, я чувствовала, как закипает все внутри. Однажды я вслух размышляла, что надо Федьку в спортивный кружок, сидит крючком, Саша усмехнулся: – Мама отдавала меня в фигурное катание, был такой фигурист Толлер Кренстон, может, помнишь, она хотела, чтоб я был, как он. Я улыбнулась – Саша был похож скорее на мишку в зоопарке, ходил вразвалку. – Потом она отдавала меня еще в музыкальную школу, – прибавил он, вспоминая, – мечтала, чтоб я был вроде Вэна Клайберна. – — Толлер Кренстон, Вэн Клайберн – и вдруг так влип! – завершила мысль я, оглядывая стены тесной квартирki. Он не отмахнулся, он серьезно сказал: – Надь, со временем она поймет, я бы не хотел вот так, сразу, но – как ты решишь... – Это было сказано с напряжением, он затаился, ждал. Я представила, как после методичного тупого перетягивания я вдруг единым усилием вырвала бы у его так похожей на меня мамы победу и могла бы, значит, торжествовать. – Конечно, не горит, – беспечно сказала я, и в ответ был его благодарный взгляд, я дала себе очередную клятву не говорить никогда ни слова. Я молчала об этом, но срывалась в другом. Я поняла, что человек не может измениться – воспитанье, самовоспитанье, внутренняя работа – все это ерунда и, угрызайся, не угрызайся, все равно, нет-нет, да и вылезет из тебя твоя суть нечаянным словом, просто взглядом, мыслью. Моя суть – находиться в центре и дирижировать, чтобы все вокруг делалось, как я хочу, а у окружающих возникал бы радостный отклик, или вздох, или стон. Саша всегда играл только соло, дирижирование ему было противопоказано. Марине в его группе так легко было бездельничать, он старался все сделать сам, когда зашивался, подходил с извинительными прибавками:

– Если тебе не трудно, – просил: – сделай, пожалуйста. Он так просил и меня. Я бы на его месте просто велела: отредактируй быстренько вот тут. Он подходил, мялся, заводил свое: если тебе не затруднит, даже меня попросить ему казалось неловко.

Мы были разные, я сразу примеривалась, будет человек моим, или нет, и что я тогда смогу с ним сделать. Саша ни на кого не покушался, он был сам по себе, как явление природы – падающий снег, текущая речка. Мне очень хотелось, я могла бы повернуть речку вспять, разбомбить снежное облако, но, глядя на Сашины безнадежно-упрямо сжатые губы, устремленный в себя взгляд, чувствовала – последствия будут необратимы. А главное, я не знала, зачем

мне так надо сделать с ним все по-своему – потому ли, что я совсем не могу иначе, или потому что оптимальность этого засажена и вбита в голову.

Я понимала, почему раньше шли в отшельники или в монастырь – убежать от людей, которым ты можешь доставить вред, уйти туда, где тебя никто не знает, чтобы никого нельзя было ни огорчить, не переделать. Я бы тоже ушла, если б было кому растить Федьку. Вот выращу, буду ему не нужна, может, еще и уйду.

Я иногда думаю, скорей всего, я просто свихнулась, может, вполне нормально, хотеть определенности, требовать, чтоб так или этак, устраивать сцены, бить по морде, рвать волосы. Может быть, так и должна поступать нормальная женщина, а все эти мысли – навязчивый бред, болезнь, комплекс, возникший еще в детстве. Я помню, я, маленькая, лежу в кровати, слушаю, как говорят мама с папой в другой комнате, обсуждая чьих-то взрослых, жестоких к родителям детей. Я не очень-то понимала, чем плохи эти дети, но ясно слышала покорность и смирение в родительских грустных голосах. Я вдруг очень хорошо поняла, они не знают, как будет у них со мной, когда я стану большая, но готовы принять любую долю. И я ужаснулась этому смирению и неизвестности, какой же я буду, и что это время так далеко, а я не в состоянии сейчас ничего сделать и ни за что ручаться и могу, значит, действительно, вырасти, все забыть и сделаться плохой и злой.

Я не забыла, но все равно выросла злая, с неласковыми скорыми руками: я мыла лапы щенку, взятому когда-то Федьке, торопилась, дергала шерсть, пес скулил, ему было больно.

Любила ли, люблю я их – пса, родителей, Алика, Федьку, Сашу? Да, любила, люблю, но щенок бежал, поджав хвост, в самый дальний угол, под шкаф, когда, схватив протянутый простодушным гостем кусок колбасы, был застигнут моим металлическим «Фу!», а потом он умер от чумки. Да, люблю, но родители часто смотрят с боязливой неуверенностью, ждут моего вечно раздраженного: зачем судить, если не понимаешь? Да любила, люблю, но Алик бежал на Север, а Федька еле выкарабкался, а бежать ему от меня некуда. И вот Саша тоже, Саша – тоже краснел и пожимал плечами на вопрос, почему же он не летит на самолете, и у него тоже было смущенно-растерянное лицо, и могла ли я вцепляться мертвой хваткой, когда и сама толком не знала, лучше ему будет со мной или хуже.

Что значит любить? Может, я вру, и вообще этого не умею? Я помню, мне жутко хотелось потрогать волосы Алика, когда я слушала его пение у костра, хотелось узнать, правда ли они такие жесткие, как кажутся. Был бездумный туман на полгода, потом недоумение – вот и все. С Сашей не было тумана, мне кажется, все у нас окончательно случилось, потому что так принято, нужно, мы с Сашей отдавали дань этому закону. В первый раз, когда все было, он уходил потихоньку, не зажигая свет, в темноте зашнуровал свои ботинки, очень тихо прикрыл дверь, а я не спала и думала об Алике, о Федьке, о том, как ужасна, вообще, жизнь, и если уж умирать, так, что ли, скорее б.

Зато мы могли часами разговаривать. Сашин единственный с детства друг женился, уехал, больше друзей не было, я понимала – Саша не умел врать, приспособливаться, он все делал всерьез – работал, общался, не было вокруг – с кем можно было говорить о работе, тут подвернулась я.

Я укладывала Федьку, мы шли на кухню пить чай, мы походили на прожившую пятьдесят лет счастливую супружескую пару. Я рассказывала ему, что сидит во мне червь, не дающий покоя, мне неинтересно просто есть, спать, работать, смотреть телевизор, мне надо, чтобы все это одушевлялось каждый раз разной идеей, а в результате я чуть не погубила Федьку. – Я знаю, что так не надо, но не знаю, как можно иначе, – говорила я ему, – вот теперь всунулась в твою деятельность, только и думаю: сделаю так, а что он скажет? – Саша отмахивался, но поддерживал то, что касалось одержимости идеей. – Я тоже, – говорил он, – я в выходные просыпаюсь не позже семи, сразу соображаю, что там, в оконечном каскаде, почему сбой, спать не могу, встаю, начинаю пробовать на макете. Мама говорит: что ты все сидишь, отдохни в выходной,

сходи в кино, познакомься с кем-нибудь. – Не хочу я, – говорю, – некогда, понимаешь, да и неинтересно. – А со мной интересно? – спрашивала я. – Ну, с тобой! – говорил он серьезно. – С тобой – другое дело. – А чем другое, какое другое? – домогалась я. – С тобой хоть поговоришь, а с ними – неси всякие глупости... – опять же серьезно и печально говорил он, и я приставала и дальше: – Значит, я синий чулок, что ли, это ты хочешь сказать? – Ты не синий чулок, ты длинный язык! – ругался он. – Все скажи да расскажи, все тебе знать надо! – Хоть и синий чулок, а все же женщина, – не унималась я. – Женщинам говорят всякие слова, мне небось тоже хочется услышать, как ты полагаешь? – Вот именно, всякие – можно такие, а можно – противоположные, лишь бы ублажали, а она будет сидеть и млеть – вот ваше племя, – злился он. Я смеялась, потом соглашалась: – Правда, Саша, бабы есть ужасные! Зайдет ко мне соседка, спокойная, толстая, вытаращит глаза: – Надь, ты знаешь, есть в нашей булочной шоколад «Тройка» с колотыми орехами. Не-е-ет, не с тертыми, а именно с колотыми, разгрызаешь, а там орехи – так вкусно! – Или час рассказывает, как меняется, кто ей звонил, кому она звонила. – Моя, – говорит, – мечта – трехкомнатная квартира у «Академической»! Я бы ее отделала! – Я молчу, злюсь – мечта у нее – нажраться шоколада с колотыми орехами и спустить воду в отделанном сортире у метро «Академическая»! А потом думаю – нормальное человеческое желание, это просто я – человеконенавистница, а сама чуть не загубила Федьку. Да и чем гордиться? К вечеру устану, выпялюсь в телевизор, сижу, смотрю ерунду всякую, и хоть плачь!...

Так мы говорили без видимой логики, перескакивая с одного на другое. Саша узнал о затее Тузова, сначала смеялся: несерьезно, никто ему такой заказ не подпишет! Заказ подписали, Саша мрачнел, ходил к главному инженеру, к директору, те отговаривались быстротой получения результатов, стало быть, и денег, а предприятие – в тяжелом положении. – Когда оно было в легком? – восклицал Саша. – Огородникам-садоводам, охотникам-рыболовам, автомобилистам, – загибал он пальцы, – прекрасно живется и в вечном прорыве, а когда говоришь: – Не прошу – помогайте, не мешайте хотя бы работать – нет, всем нужно совсем другое!

Он перестал восклицать, когда вся его группа по одному потянулась к Тузову. Саша приходил и молчал, не вспыхивал его взгляд, не махал он рукой дурашливо, как раньше, тряхнув головой, пропев тонким голосом: – А-аа! Ерунда! Сидел ли он раньше за дисплеем, чинил ли телевизор, изображал ли, кряхтя, перед Федькой поверженного самбиста, глаза и щеки его горели, губы были алые оттого, что он их то и дело кусал в азарте. Перед ним всегда была далекая или близкая цель, жизнь для него заключалась в движении к цели. Куда все это делось? Он сидел, смотрел в пространство, коротко вздыхал: да-а... с новой интонацией, появившейся у него совсем недавно, со старческим каким-то вздохом: мол, прожита жизнь, суетились-суетились, а что толку? Мне хотелось потрясти его, хотелось оживить, восстановить. Сашина цель таяла, размывалась, губы его бледнели, взгляд гас. Я смотрела на него, и в голову лезли дурацкие мысли, что он может когда-нибудь умереть, что вот это его тело, руки, ноги, сердце однажды остановятся, зафиксируются в последнем положении, и не будет больше движения, жизни – все кончится. Я физически ощущала, как слово «бренность», которое раньше я могла применить к кому угодно, но не к Саше, подобралось и к нему. Он завязывал свои шнурки, я молча стояла и думала: зачем ты уходишь, останься, я постараюсь, тебе будет легче. Но все мои старания сводились к ругани с Бенедиктовичем, к зажигательным и бессильным монологам на кухне, к молчанью и вздрагиванию от каждого этого его «да-а...»

Наша последняя прогулка была во Всеволожск. Я предложила съездить погулять, пройтись заодно по магазинам. Такие же намерения оказались и у народа, битком набившего электричку. Все высадились, шли по перрону, как идет демонстрация, я думала: вот, завезла... Саша был молчалив, как все последнее время, Федька, наоборот – в прекрасном расположении, я пообещала ему купить что-нибудь интересное.

Я помню, я ныряла во все по очереди магазины. Было солнце, снег уже весь растаял, народ толпился у прилавков в распахнутых пальто, лица блестели от пота, я покупала дет-

ские тренировочные. Я выходила из душегубок магазинов и видела их, Сашу с Федькой, Саша ждал безучастно, Федька все чего-то лез к нему, его распирала энергия. Я вышла из «Детского мира», жмурясь от солнца, искала их взглядом, Федька изображал прием самбо, копошился внизу, пытался заломить Саше за спину руку. Саша машинально подыгрывал, потом, когда Федька совсем уж вошел в раж, сказал: Федя, не надо, а? Федя, хватит... Он сказал это обычным голосом, без особого выражения, но Федька вдруг бросил его руку, лицо его скривилось, он швыркнул носом, отошел от Саши к забору и отвернулся. Саша стоял, задумавшись, никак не реагируя. Федька вдруг обернулся и посмотрел на него от своего забора. В глазах были и обида, и надежда, что Саша сейчас очнется и набежит: а ну-ка обороняйся! Саша не заметил, Федька снова отвернулся, швыркнул только еще раз носом. Я незаметно вернулась в магазин, купила Федьке машинку, а когда вышла снова, они опять уже боролись, и Федька на всю улицу хохотал. Я стояла, смотрела на них с машинкой в руках. Я вдруг подумала, сколько еще все так может продолжаться, Федька привык, прирос к Саше, а где-то там живет Сашина мама, ежедневно напоминает о себе аккуратными бутербродами в фольге, которые Саша вынимает к чаю на объекте. Саша молчит, ускользает, и все так поганно на работе. Что же будет, сможет ли он без нас, сможем мы без него, кажется ли абсурдом и ему то, что кажется невозможным мне, или я вовсе ничего не понимаю.

Я вдруг на секунду словно обрела другое зрение, мне показалось, что все, о чем я думала, беспокоилась, волновалась – выдумка, а истина на неизвестной глубине. Я смотрела, как снисходительно Саша посмеивался, поддаваясь Федьке, смотрела испытующе: тот ли? такой ли? Саша заметил меня, сказал Феде: ну, сдаюсь, вот мама твоя, – и я тряхнула головой, стараясь сбросить наваждение, решительно направилась к ним, улыбаясь, крутила перед Федькой машинкой.

Мы ходили по длинным одинаковым улицам мимо отгороженных штакетником старых дач. Я говорила: Саша, ну, уйдешь, ну, что, ведь жизнь не кончается. Тебя с руками оторвут в любом месте, ну, начнешь все по новой, подумаешь, тебе же не пятьдесят? – Он, усмехнувшись, отвечал: Везде все одинаково, ты что, не поняла? – Откуда ты знаешь? – горячо возражала я. – Знаю, – отвечал он. – Нет уж, сказал он напоследок. – Здесь или нигде. Отсюда – в сторожа или в мясники. – Да-да, самое тебе место, – растерянно кивнула я, и мы долго еще ходили, Федька тоже попритих, забегал то на одну, то на другую детскую площадку, залезал в домики, на горки, катал новую машинку по перилам сосредоточенно, деловито, не приглашая никого участвовать.

Это была суббота, в воскресенье Саша отправился почитать что-то в Публичке, я стирала. Я выпустила Федьку во двор, погода была опять теплая, солнечная, я выглядывала в окно, видела, как Федька играет в войнушку, размахивая пластмассовым автоматом, крича что-то срывающимся от волнения голосом. Я стирала, монотонные движения, бегущая вода, ровный гул машины успокаивали. Мне казалось, что все как-нибудь утрясется, что стыдно мне требовать чего-то еще сейчас, когда так плохо на работе. В дверь позвонили, я подумала, что это Федька прибежал за чем-нибудь, не спрашивая, открыла, удивилась, увидев на пороге незнакомую женщину, начала уже качать головой, мол «не туда попали», и остановилась, до меня дошло – это Сашина мама.

Мы сели на диван, она в один угол, я – в другой, в квартире, как назло, был бардак, всю субботу мы прогуляли, я не убрала, от развешанного в кухне белья потели стекла, на мне был драный халат. Я представила, как невыигрышно все это выглядит, закусил губу.

Сашина мама была худенькая, с кругами под глазами, в старомодном костюме, широконосых туфлях. Я подумала о Сашиних курточках, безукоризненных рубашках, поняла, почему он покупал ей на объекте те кофты.

– Надюша, – взволнованно начала она. – Я пришла, давно хотела поговорить, вы, конечно, понимаете, о чем... – говоря, она крутила головой, осматривая комнату, беспорядок, наткнулась на валяющийся на столе флакон сухой валерьянки.

– Мне тоже надо купить, – как будто про себя сказала она, показав на флакон. – Я хочу попить Сашу, а вы, наверное, тоже поите своего мальчика?

Я кивнула, я почувствовала, с чем она пришла, такая отъединенность была в этой уверенности, что каждая из нас должна поить валерьянкой только своего мальчика. Она сказала что-то про успокоительный сбор, принялась рассказывать, как лечила травами трехлетнего Сашу от воспаления легких. Я знала, Сашин отец умер, когда Саше было два года, она растила его одна... Я рассказала про травы от бронхита, которыми всегда поила Федуку. – Саша тоже часто подкашливает, – озабоченно пробормотала она, начала объяснять, как у него обычно начинается простуда, говорила долго, в глазах загорелся огонечек одержимости.

– Много всякого было, – вздохнула она, – растила его, ни о чем другом и не помышляла. – И она прервалась, значительно посмотрела на меня и выдержала паузу.

– Надюша, – просительно сказала она, наконец. – У вас мальчик тоже такой больной. Как же вы уделите ему внимание, если заведете себе семью? И потом, Надюша, надо еще детей – а ведь они тоже могут так заикаться?...

Я сидела, пытаюсь запахнуть на коленках халат, подтягивала полы, а когда она сказала это, пальцы мои будто онемели. И я так и не смогла ничего подцепить. Я посмотрела на нее, она сочувственно встретила мой взгляд, а в глазах была стальная убежденность: нельзя отдать моего чудесного мальчика распустехе с беспорядком и больным ребенком – это читалось и в сжатых на коленях некрасивых, покрытых толстыми венами маленьких руках. Раздался звонок, я пошла открывать, в дверях стоял Федька.

– М-мама, мне жарко, – скороговоркой протараторил он, лишь чуть запнувшись в слове «мама», одновременно скидывая куртку, свитер, снова надевая куртку прямо на рубашку.

– Подожди, остынь, – пыталась остановить его я. – Н-не, мы играем! – озабоченно бормотал он и, застегивая на ходу пуговицы, кинулся вниз по лестнице.

Я вернулась в комнату со свитером в руках, она смотрела на меня во все глаза, сначала я не поняла, почему, потом поняла – услышала теперешнего Федуку.

– Мальчик лучше стал! – удивленно пропела она, но тут же, спохватившись, покачала головой. – Все равно, еще – ой, сколько придется заикание ведь такое дело, оно может и...

– Пожалуйста, не надо! – прервала я ее, стоя над ней со свитером, и она понятливо закивала, поднялась: ну, пойду! и двинулась в коридор.

– Сашенька так изводится, – сказала она, задержавшись в дверях напоследок. – Приходит с работы сам не свой, прямо не знаю, что с ним делать, – вдруг некрасиво сморщилась, всхлинула она, и если бы я тоже заплакала, если бы бросилась к ней и обняла, все, может, пошло бы иначе. Но я так не смогла, я загибалась за спиной пальцы, считала до двадцати семи типунов, посылаемых ей на язык за ее пророчество о заикании, предохраняющее от сглаза число, я не посмела прерваться, и взгляд мой, встретивший ее последний, отчаянный, был по-бараньи тупым. Она вытерла слезы, вздохнула, вышла. Я покончила с типунами, когда осталась одна.

Она ушла, в ванной лилась вода, но я уселась на диван, не посмотрев, не переливается ли там через край. – Вот так, сказала я вслух, и эти два слова показались мне чем-то вроде тукнувшего воздух заостренного клюва. Я встала, пошла постирывать, принялась потом за уборку, залезла под душ, надела новый длинный халат, сделала маникюр, позвала, накормила, уложила Федуку и уселась перед телевизором во всем сиянии и блеске. В тот вечер Саша не пришел...

... за грибами пока! – доносится до меня шепот, кто-то толкает в бок, я смотрю – Марина.

– Пошли пока вокруг дома за грибами, – тихо повторяет она, кивая на дверь.

Мы выходим, потихоньку утащив куртки, открываем засов задней, выходящей прямо в лес двери. Дерзкий план – пока Ким ждет в доме найти на ужин пару грибов и встретить, может быть, Сашу, предупредить, что Ким пришел.

Мы спускаемся немного вниз, идем вдоль дороги, здесь самое грибное, подосиновичное место. Мы идем по узеньким, высланным мхом тропкам, усыпанным желтыми березовыми, красными осиновыми листиками. В лесу ветер тише, иногда только налетит, осинки зазвенят, как большие мониста. Я высматриваю грибы, вспоминаю, как искали их здесь с Сашей в прошлом году, я говорила, что главное – думать о грибах спокойно, убежденно, что никуда они не денутся, какие есть – все соберем. Саша посмеивался: ерунда, надо просто знать места, я спросила – нет, психология тоже имеет значение.

Странно то, что я теперь утратила чувствительность, иногда только вдруг словно распахнутся шторы и, как свет из окна, хлынут нелепость, несуразность, а потом опять, шторы закрываются и вроде – так и должно быть. После мамы Саша пару дней не приходил, потом пришел сосредоточенный, сел, потрясывая ногой, готовился к разговору.

– Мама была, я знаю, – сразу сказал он, и я быстро спросила: – И что теперь?

Он затравленным каким-то движением обнял колени, я смотрела насмешливо, и он опустил голову, замолчал, тряс ногой. Я смотрела на него, и два чувства во мне боролись – хотелось открыть рот и язвительно высказаться о мужчинах, которые до тридцати спрашивают у мамы, и хотелось подойти, обнять, утешить. Эти два противоположные желания имели одинаковую силу, я смотрела на него, большого, скорчившегося, думала: вот он сидит, ходит, живет, работает, он нужен Тузову – украсть приемник, маме – царить, мне – выходить из цикла, он всегда все отрабатывает, ничего не достается ему просто так. И, однако, мне до жути хотелось, чтобы он получил сейчас и от меня, и посмотреть, что же тогда-то с ним будет. Это последнее было сродни садистскому интересу зеваки, глазеющего из безопасного окна, как во дворе кого-то избивают, и я старалась сбросить, стряхнуть этот по-удавьи гипнотизирующий интерес, однако же повторила еще настойчивее: и что теперь?

И, спросив, я уже знала, как все пойдет дальше – также было и с Аликом, и конец, значит, тоже будет такой, если сейчас не остановиться, тем более, что в тот день от Саши ушел еще один машинист, и тряслась Сашина нога, делая над собой усилие при каждом слове, он заговорил: – Я ругаюсь с ней, Надя. Если б у нее еще не сердце... Ну, хочешь, плюну! Понимаешь, она со мной всю жизнь...

– Слышала... – насмешливо сказал кто-то за меня, и Саша сразу замолчал, мы посидели еще, потом он встал, вопросительно посмотрел на меня, я отвернулась к окну. Я не вышла даже в коридор, дверь захлопнулась, и я хотела опять корить себя и каяться, но не могла.

Со следующего дня Саша перестал выезжать с объекта, вечерами работал на машине, спал в безлюдной и холодной объектовской гостиницу. Мы по молчаливому соглашению говорили только о работе, дома Федька спрашивал: – Где Саша? – Много работы, – говорила я. – Отнеси ему конфет из моего мешка, только я сам выберу, – сказал однажды Федька и принес мне четыре штуки. Я послушно убрала в сумку, выложила на работе к чаю, три стрескал Толька Федоренко, последнюю взяла Марина. На майские мне дали путевки в семейный пансионат, я взяла отгулы, а на объекте во всех домах готовились праздновать, в нашем – Толька звенел бутылками, Марина расписывала салаты. Мы с Федькой уехали, бродили по берегу залива, учились пускать блины, ставили галочки в меню, смотрели в неправдоподобно шикарном номере телевизор. А на объекте пили и веселились, и Саша остался тоже. Я не хочу знать, как все у них произошло, слышала только, оргия была грандиозная, все дома объединились и заканчивали праздник на озере, потом с факелами пошли ночевать в гостиницу, что-то там немножко подожгли, сразу загасили, но до Кима дошло, вскоре и вышло постановление о запрещенных ночных работах. Кое-какие парочки разошлись по номерам – неотразимый наш Федоренко –

не с Мариной, а с новой рыженькой девочкой из первого дома, а Марина ждала майских, шила платье, готовилась.

– Я буду рожать от твоего Петрова, – заявила мне Марина через месяц, с любопытством глядя на меня утром в поезде. Я знала, разве может на объекте что-то скрыться, и все же то, что она мне сказала, совсем уже меняло все. Я глупо спросила: – Это точно? Он знает? – Еще бы! – усмехнулась она. – И что? – окончательно потерявшись, спросила я. – Ну, как приличные люди поступают в таких случаях? – веселилась Марина, и я опускала голову все ниже.

Я смотрю теперь, как она бесшумно скользит между деревьев, как упруго наклоняется, рассыпаются кудри. Я впала тогда в столбняк, не было лихорадочных мысленных забегов – вот если бы я тогда... а вот если бы он... Мы с Сашей не говорили и не смотрели друг на друга, но однажды я шла в первый дом, он – оттуда, мы встретились на дороге, шел дождь, я была под зонтом, он – без зонтика, без куртки, с рулоном листингов под свитером, мокрый. Мы остановились, взглянули, я увидела осунувшееся мокрое лицо. Я дала ему зонтик, взяла под руку, рукав моей куртки сразу промок. Мы свернули оп тропинке в лес, встали под большую березу. Мы стояли, дождь барабанил сквозь крону, зонт был, как перевернутый фонтан. – Саша, ну, что же это будет? – спросила я, он сжал губы, часто заморгал. – Знаешь, – сказал он, – у меня такое чувство, что все катится куда-то в пропасть, а это только добавляет до кучи.

Он сказал, что тогда на майские напился, думал – чем хуже, тем лучше, гори все синим огнем. Теперь Марина захотела рожать, и чтобы он женился. Договорились все оформить, через год – разойтись.

– Но снова уперлось в мать! – ожесточенно воскликнул он. – Они так хорошо поладили, мать ест поедом, требует, чтобы было на полном серьезе!

Он никогда раньше не говорил так о маме, я, поежившись, отметила это.

– Марине с ребенком жить будет тоже негде, – продолжал Саша. – Она настроилась поселиться до лучших времен у нас, пудрит матери мозги про чувства, та верит.

– Ну, и что же будет-то? – повторила я.

– Не знаю, – устало вздохнул он. – Поругался совсем с матерью, вытащил чемодан – ей тут же неотложку. А ты бы пустила? – помолчав, спросил он, и его этот вопрос был лишь обозначением вопроса, не было в нем уже не интереса, ни надежды.

– Куда б я делась, – сказала я, и он снял, вытер мокрым свитером залитые дождем очки.

– Не знаю, Надя, как-нибудь распутается, – пробормотал он со стыдливой тоской, – всех уже надолго не хватит...

– Кроме меня, – сказала я. Он отвернулся, помолчал еще, хмуря лоб, щурия близорукие глаза, потом вытащил из-под свитера рулон, отогнул край и без уверенности, что еще можно упоминать об этом, все же сказал: – Вот, лезет ошибка...

Он вопросительно посмотрел на меня, и теперь в его глазах был главный и единственный, наверное, оставшийся интерес, он сомневался, занимает ли меня еще все то, что так занимало прежде, можно ли, как раньше, говорить со мной об этой ошибке. Я смотрела на него, понимала, что ему так хочется – и не с кем поделиться, я знала, что сейчас, если, не вдаваясь, я просто кивну из вежливости, мы постоим так и разойдемся.

И тогда, кажется, отключилась рассуждающая часть моего сознания – я нехотя, будто собираясь проглотить горькое лекарство, потянула рулон к себе и начала вглядываться в строчки. Он, словно только этого и ждал, с облегчением зачастил, что ходит на большую машину, редактирует, запускает снова, и хоть тресни – какой-то заскок. Я пошла в первый дом, и он тоже решил вернуться, попробовать еще раз. Я слушала, даже не пытаясь понять хоть что-то, а потом мы ко всеобщему изумлению, явились вместе в наш домик. И народ, и Марина поизумлялись с неделю, потом привыкли и я опять, с грехом пополам, влезла во все его программы, ходила с ним вместе в первый дом, мне не было стыдно, я поняла, что, если ничего

не осмысливать, можно, оказывается, за милую душу существовать всем параллельно – и нам с Сашей и его работой, и его маме с Мариной, и надвигающейся свадьбе.

И вот теперь, когда все уже случилось – Марина переехала к нему, и у его мамы синусовая кардиограмма, я, надо же, наконец, признаться, не воспринимаю это как окончательно захлестнувшее. Я отламываю от крепенькой сыроежки кусок толстой ножки, чтобы посмотреть, не червивая ли, кошусь на Марину.

Я помню, как мы стояли с ней у окна в школьном туалете. Марина курила и вдруг сказала: – Вчера я стала женщиной, это очень больно... – Я во все глаза на нее смотрела, а она покровительственно улыбнулась. Что такое всегда было во мне, зачем ей вечно надо было показывать именно мне свое превосходство? Что такое было и в ней, почему я всегда хотела, но не могла от нее отлепиться? Я вышла за Алика, родила, развелась, у нее сменялись странные красавцы в «Жигулях», модные дедушки на «Волгах», я спрашивала, она кривилась, говорила «дерьмо», не называла он так лишь Тольку Федоренко.

– Братъ мне замшевое пальто за пятьсот? – советовалась одна из объектовских девиц, и все сокрушенно цокали: – Такие деньги, непрактично, не бери, а Марина безапелляционно заключала: – Конечно, братъ, живем-то один раз!

– Маринка, у тебя такой бюст, как ты влезаешь в сорок четвертый? – спрашивали ее. – Просто у меня очень узкая спина! – убежденно заявляла она с такой значительностью, будто объявляла, наконец, конструкцию работающего вечного двигателя.

Все это бесило меня, я думала, может, от зависти, но в глубине души знала – нет, просто мы по-разному живем, верим в разные вещи: я вечно ищу себе цели и смыслы поглубже, Марина убеждена, что все вокруг – для нее, и пытается и никак не может выбрать среди этого всего самое подходящее. И почему-то каждую из нас выводит из себя иная точка зрения – Марина тоже необъяснимо бурно взорвалась однажды, когда я с невинным любопытством приподняла и потрогала волан ее фирменного коротенького платья. – А если я? – вдруг со злобой дернула она вверх мою вполне традиционную юбку, я отскочила, оглянулась, постучала по лбу.

Наверное, каждая из нас не до конца уверена в своей правоте, потому нам и не расстаться, мы жадно наблюдаем друг за другом, а теперь вот она будет жить у Саши. Я останавливаюсь в своем грибном круженье, подымаю голову, смотрю на нее сквозь паутину сухих еловых веток и первый раз спрашиваю: – Ну, и зачем? – Знаешь, Надька, – сразу поняв, отвечает она, – запретили мне аборт, слишком было много, а, главное, перед этим только что был. И, вообще, не грех и мне обзавестись, – она тянется, ломает лезущий в глаза сук.

– А Сашка тебе зачем? – спрашиваю я.

– А куда я с дитем и мачехой в коммуналке? – удивляется она. – Да и название это «мать-одиночка» – сплошное сиротство, поживу пока, бывает дерьмо и похуже...

Это все она произносит с вызовом, специально, чтобы спровоцировать меня высказаться. Я поворачиваюсь, быстро шагаю к дому.

Сашу мы видим уже из окна. – Вот он! – вздрагиваю я от Марининых слов. Он идет очень быстро, куртка нараспашку, чуть не бежит, что-то там, наверное, еще случилось.

Он входит, кидает куртку, не здороваясь даже с Кимом.

– Так вот, Петров, идите, подпишите акт! – тонким голосом заводит Ким. Саша будто не слышит, быстро идет за свой стол, открывает ящик, вынимает бумаги, роется, находит какой-то лист с формулами, смотрит.

– Оглох что ли? – с любопытством спрашивает Бенедиктович. Ким удивленно глядит из-под очков.

Саша поднимает голову, вроде, замечает Кима, соображая, морщит лоб – не может, наверное, понять, что еще надо этому.

– Петров, ты меня понял, иди акт подпиши! – предлагает Ким уже сурово. – Какой акт? – в недоумении спрашивает Саша. Ким с Бенедиктовичем возмущенно раздувают щеки, и в два

голоса начинают причитать на тему, как Саша может еще спрашивать, когда об этом знает весь объект! Это для них, как для двух старых сплетниц – важнейший аргумент. Саша слушает, начинает краснеть – признак того, что сейчас он их что-то такое скажет: Саша всегда в ответ на хамство сначала краснеет, потом, набывшись, бросается отражать, как затравленный, неловкий неумеха-гладиатор:

– Я что-то не пойму, Петров, – еще раз повторяет Ким.

– А иди ты на ...! Будешь еще тут! – с неожиданной злостью восклицает Саша и опускает голову в расчеты. Толька одобрительно крякает, Марина в недоумении смотрит, я – тоже, никогда Саша при всех не ругался. Бенедиктович, побурев от негодования, рубит кулаком по столу: – Ладно, пошли, Николай Иванович, в другом месте мы! ... – Ким не привык к такому обращению, он даже ничего не может сказать, или это восточная сдержанность – еще не обдумал, что будет делать.

Они уходят, я спрашиваю: – Что там было-то? – Да, – неопределенно поводит Саша плечами. Толька встает, выходит; следом, поджав губы, Марина.

– Что? – спрашиваю я.

– Он показал статью Фрезера – помнишь, у которого аналог. Если так, как в статье, считать коэффициенты, у нас будут совсем плохие характеристики.

– Он дал тебе?

– Помахал перед носом, статья непереводная, журнал ему нужен.

– Что будешь делать?

– Поеду в город, в Публичку, закажу.

– Прямо сейчас?

Саша кивает, берет куртку. Я соображаю – сейчас он еще и самовольно уйдет с работы, полезет в дырку в заборе – через проходную сейчас не выпустит охрана, до конца работы еще далеко.

– Может, подождешь уж до конца? – просительно шурясь, предлагаю я. – Ким ведь озвучит...

– Пошел он... – говорит Саша, и я вижу, ему совсем уже все равно.

– Постой, я провожу до дырки, – говорю я тогда, быстро натягиваю куртку, и мы идем по коридору мимо курящих Тольки, Марины, Бенедиктовича. – Куда это? – летит вслед Бенедиктовичев окрик, но дверь хлопает, мы вприпрыжку сбегает под горку, углубляемся в лес, прыгаем по кочкам через болото, сворачиваем по тропинке направо. Мы идем быстро, мелькают стволы берез, еловые ветки, черничник, под ногами кое-где грибы, вот и забор, проволока, дыра. Мы останавливаемся. Он поворачивается ко мне, взгляд его отчаянный, в глазах – слезы. Он хватает концы воротника моей куртки, сжимает их кулаками, спрашивает: – Ты-то хоть понимаешь?

Я молчу, потому что не все я понимаю. Он ждет, что я отвечу, но я думаю, неужели, когда Федька вырастет, с ним тоже может случиться что-нибудь такое?

– О чем ты думаешь? – спрашивает он.

– О Феде, – отвечаю я, и он опускает голову.

– Прости, – говорит он, отпуская мой воротник. – Если Тузов прав, значит, вообще, все зря, тупик, мне и раньше казалось, у тебя нет такого чувства?

– Было, ты же знаешь, – улыбаюсь я. – Было и прошло, и ты помог.

– А сейчас? – спрашивает он.

– Сейчас я еще не поняла, – говорю я.

– Слушай, Надя, – вдруг решительно говорит он, беря меня за руку. Но в этот момент шуршат кусты, мы оборачиваемся, из-за дерева появляется самая толстая объектовая охранница, за нею – Ким – когда успел выследить! – Стой, буду стрелять! – орет охранница, и в правду, хватаясь за кобуру.

– Петров, стой! – вопит Ким, но Саша уже перемахнул забор, Саша уже скрывается в лесу, только щелкают на его пути сучки и ветки.

Я возвращаюсь в дом под конвоем, как арестантка, только что руки не за головой. Составляется докладная записка, Ким читает вслух, шипит Бенедиктович, Толька Федоренко, хмурясь, кусает ногти, лупит глаза Марина, Семеныч огорченно качает головой. Звонят Тузову, звонят в город, в режим. Дело затевается крутое, но идет оно у меня мимо сознания. Почему-то все сжалось внутри, я слушаю не их, а как где-то на цепи лает и воет объектовская собака.

Я подписываю все бумаги, киваю, соглашаюсь, что тоже пыталась бежать и была задержана. Я не слышу половины из всего, что они говорят, отвечаю потом как-то Марине, Тольке. Нас везут домой, мы долго стоим на платформе, что-то с электричками, говорят приехавшие на встречной люди, кое-кто идет по шпалам до автобуса. Тепло, но мерзнут руки, мне надо скорее добраться домой, скорее позвонить. И когда мы подъезжаем к первой остановке, и мужчина напротив говорит соседу, показывая за окно: – Где-то здесь сегодня задавило парня, попал между поездами, – я срываюсь, выскакиваю в уже задвигающуюся дверь, бегу назад по платформе до края, смотрю на заворачивающиеся в лес пустынные пути и, припав к барьерчику, висию. – Надежда, ты что? – слышу голос Тольки Федоренко.

.....

А через четыре года мне тридцать, я сижу в провисшем брезентовом кресле с тазом мелкого крыжовника на коленях. Я сижу под кустом шиповника, в цветах громко гудят шмели. Принимается жужжать и стрекотать еще какая-то живность, я смотрю, как продирается через траву муравей с грузом. Я закрываю глаза, дремлю и слышу, как подогретое жарой в цветах и листьях интенсивно живет невидимое множество существ. Сон это или явь, нет, скорее – явь, из сарайчика стучат молотки – Толин сильно и уверенно – тум-тум-тум, Федькин – мелко-заполотно – тум-тум, тум-тум, и – я улыбаюсь – Павлика, реденько слабенько – тумм...

Я сижу, а работы ведь еще много – варенье, и кормить их обедом, и надо бы вечером опрыснуть кустарники – не очень-то я расторопная хозяйка. И все же из оцепенения выводит только крик выскочившего из сарая Федьки: – Мама, смотри, мы сделали! – Я не сразу встаю, иду посмотреть – что ж, превосходный ящик для компоста с крышкой на петлях. Толя, подняв бровь, говорит: – Надо бы как-то премиривать! – Пирог с крыжовником, если успею, – — глядя на часы, говорю я, и Федька, загорелый, тощий веселый, кричит: – Ура! – Павлик, глядя на него, машет ручками, как крылышками и подпрыгивает. Толя, делано-разочарованно фыркает: – Пирог! Да за такой ящик! ... – и он, вскинув голову, смотрит, как прежде, гоголем и записным красавцем, для которого и так-то нет проблем, а уж за такой ящик... У него сильные плечи, твердый подбородок. На нем – фирменные плавки – он любит все красивое, и в мыслях сейчас он, наверное, где-то в прежней свободной и беспечной жизни, к которой, уверяет, что его больше никогда не потянет. – Ну, ладно! – тряхнув головой, и в правду, возвращается он оттуда. – Если нечего больше делать, айда, ребята, купаться!

Через минуту они уносятся на велосипедах, а я, уже не валандаясь, быстренько достригаю крыжовник и делаю еще множество дел на кухне и в огороде, дел, которые, однажды начав, буду, наверное, переделывать до самой смерти, если ничего с нами всеми не случится, тьфу, тьфу, типун мне на язык.

И вечером, когда, наевшись пирога, спят мои – легко отмытый розовый малыш и с трудом отдраенный голенастый мальчишка, когда спит уже не дождавшийся меня Толя, я еще довариваю варенье. В углу светятся маленькое бра и телевизор, кругом, во всех окнах веранды непроглядная ночь, не горят уже окна в соседних дачах и, кажется, откроешь дверь – неизведанное пространство, космос. И вот тогда, когда я одна в этой ночи, поддерживаемая только слабеньким светом телевизора, мне беспокойно, как прежде, и сердце занает тоскливо, когда я неслышно, одними только губами шепну забытое имя...

...Я подала на увольнение сразу – не могла ездить на работу. Каждый раз, когда электричка подъезжала к перегону между озерами, мне казалось, что Саша опять идет по шпалам, навстречу грохочет товарняк, за спиной – неслышная в шуме товарняка – мчится, настигает электричка. Если бы он догадался прыгнуть вниз, прочь по склону! Он шагает между рельсами. Я видела, как в телевизионном повторе, чередующиеся варианты: поворот – прыжок, поворот – шаг, мешалось, крутилось в голове. Поворот – шаг, поворот – прыжок, и внезапная звенящая тишина, зеленый луг, бабочки, кузнечики. – Наденька, Наденька! – продирающийся сквозь звон взволнованный голос Семеныча.

В эти последние дни я подружилась с Семенычем. Наш дом совсем обезлюдел – Бенедиктович больше терся в первом, Марина лежала в больнице на сохранение, машины отключили, в домике остались Толька, Семеныч, я. Толька с утра брал большую корзину и шел в лес, мы с Семенычем сидели перед домом на скамейке. Дни стояли теплые, солнечные – бабье лето. Семеныч, устав сидеть, прикладывался, лежал, опершись на локоть, любовался облаками, говорил: – Смотри, Наденька, как меняется оттенок.

Я заводила с ним каждый раз один и тот же разговор – полгода назад у Семеныча умерла жена, с которой он прожил тридцать шесть лет, и уже через четыре месяца Семеныч снова женился, преобразился, помолодел, часами рассказывал про новых внушек. Я каждый раз спрашивала, как старшая внучка занимается макраме, думала: что же еще я хочу услышать, зачем спрашиваю, неужели уже подготавливаю почву, перенимаю передовой опыт? Приходил Толька с грибами, мы жарили на обед. Толька тоже мрачно слушал, чистя картошку – никогда Семенычу не уделялось раньше столько внимания.

В эти же дни я перевела статью, которую хотел заказать Саша. Я заказала, она была трудная, я долго разбиралась в терминологии, а когда перевела, не могла толком разобраться в сути. Толька помог, сказал, что Тузов не вдавался – в статье был описан частный случай, не имеющий к Сашиному отношения.

Я ехала с объекта последний раз, вспоминала первую дорогу – первый раз все казалось иначе – грузовик с длинными скамьями в закрытом кузове, множество набившихся в него людей, спина к спине, колени в колени. Остальные дороги слились в одну – зимние, с белыми заснеженными лесными пространствами, осенние – с хлещущим в стекла дождем, и летние – с поднимающимся над озером туманом.

Феде я сказала, что Сашу послали в длинную и важную командировку. Работать я устроилась недалеко от дома – сидела в панельной, прокаленной солнцем ячейке, из окна видела залитые бело-серым асфальтом пространства, писала программы. С Толей мы случайно встретились в цирке, куда он тоже пришел с сыном. Мальчики шли впереди, мы смотрели на них, Толя рассказывал про объект, жаловался, что бывшая жена очень редко пускает его к ребенку.

Через два месяца мы с ним отнесли заявление. Я согласилась сразу, в том год я заканчивала курсы кройки и шитья и не знала, что буду делать дальше.

И все у нас пошло на удивление неплохо. Федька к Толе проникся сразу, едва выучился стоять на голове. У Толи оказалось множество друзей, в выходные нас одолевали гости, Толька гудел за столом, острил, развлекал всех анекдотами – он мог бы быть, наверное, чемпионом по анекдотам, на каждый случай у него был припасен подходящий. Я бегала из кухни в комнату, кормила их всех шашлыками, смеялась. Скоро наметился Павлик, мы взяли участок, и когда Павлику исполнился год, Толя уже соорудил небольшую добротную времяночку, и мы начали выезжать на дачу...

...И в это утро, как и в другие дачные утра, они еще спят, я встаю, беру ведро, выхожу – все вокруг в дымке, у колодца застыли березки – опять, значит, будет жара. Я приношу воды, ставлю чайник, и через полчаса каша уже в кастрюльке, яйца – — тарелке и поджарена зачерствевшая булка. Они проснулись, я зову вставать, отклика нет, я зову снова, наконец, иду, замахиваюсь полотенцем: сколько можно валяться, сейчас кто-то получит! Толька вскидывается,

так что стонут пружины, дурашливо приговаривая: – Ой, встаю, только не бей! – Федька, конечно, повторяет за ним, скачет козлом: – Не бей, мама, мы не виноваты!

Только на удивление быстро появляется с уже одетым Павликом, я гоню их умываться на улицу, они плещутся под жестяной звон умывальника, и через десять минут мы чинно сидим за столом, окна веранды открыты, колышутся разрисованные синими цветами шторы, под окном одуряюще пахнут флоксы, вокруг тишина, простой день, пятница.

Шум мотора по нашей линии мы слышим еще от канала. Я высовываюсь в окно, вижу – подъехала синяя «Волга», смотрю на Тольку, говорю: – Привезли Кристину. – Толька высовывается тоже, цедит: явились опять.

Мы выходим на дорогу, из машины первой высовывается Марина. Она совсем не изменилась, разве другая стрижка, и губы накрашены еще ярче, огромные клипсы в ушах. За ней из машины выныривает девочка в джинсовой юбочке, с серьезным лицом.

Толя уже жмет руку поджарому человеку с длинноватыми, по битловской еще моде волосами, в джинсах. Это Тузов.

– Надь, возьми Кристинку до среды? – поздоровавшись, спрашивает Марина. – Для бабушки – мы у тебя, а, вообще, едем с Андрюшей в Ригу, – она протягивает мне сумку с Кристининой одеждой. Эта сумка здесь бывает часто, я знаю, какие там трусики и рубашки, я чинила синие колготки, Толька клеил подметку на сапоге.

– Хорошо, – говорю я.

Тузов, оттряся рукой, поворачивается ко мне и с преувеличенной, чтобы принимали ее всерьез, почтительностью, здоровается. Я обозначаю кивок.

Марина говорит про рижский магазин «Аста», спрашивает, что привезти, я говорю: ничего не надо. Тузов открывает багажник, капот, водит за собой Тольку, они склоняются над машинными внутренностями. Толя, ходя за Тузовым и кивая, напоминает большую умную собаку, старающуюся врубиться в науку, которую ей преподают. Тузов сыпет цифрами: сто долларов... шестьсот километров... шесть рублей..., – жестикулирует, как на собраниях, когда, бывало, говорил, что отдел должен занять в соцсоревновании первое классное место. Тузов закрывает багажник, капот, делает общий прощальный жест, садится за руль. – Ну, бывай, – говорит Марина, машет Тольке, целует дочку, обещает: – Привезу тебе куклу, слушайся тут, – усаживается тоже. Из машины она шлет воздушный поцелуй.

Я смотрю на Кристинку, беру ее за руку. Ручка мягкая, большие пальцы загибаются, как у Саши. В садик ее не отдают, Кристину растит бабушка, Сашина мама. Намыливая куда-нибудь с Тузовым, Марина всегда говорит бывшей свекрови, что едет с Кристиной гостить к нам на дачу. Кристина уезжает хмурая, с наморщенным лбом, боится проговориться.

Девочка озабоченно смотрит на дорогу, потом переводит светло-серые, большие Мариныны глаза на меня:

– Тетя Надя, тебя обидели? – спрашивает она, внимательно глядя.

– Почему ты решила, Кристина?

– Ты грустная, – уверенно говорит она, и я целую ее, отвечаю: нет, тебе показалось, целую еще раз, беру на руки, несую домой. Толька идет следом.

Мы заходим, Кристина здоровается с ребятами, стесняясь, слезает с моих рук, задерживается у двери. К ней подбегает Павлик, тянет новую собаку, хвастается: гагага. Федька снисходительно смотрит на малышню, внушает Павлику: какая еще тебе гага, скажи: со-ба-ка. Я переодеваю, кормлю Кристину, и вскоре все они выкатываются во двор. Федька седлает велосипед и исчезает, Кристина с Павликом усаживаются у песочной кучи.

Мы с Толей сидим еще за чаем, смотрим на ребят. Я вспоминаю, как Марина пошла к Тузову говорить о пенсии на дочку – пенсия получалась маленькая – Тузов подписал бумагу, что погиб Саша не на работе, уход его был самовольный. Все возмутились низостью, Марина

решилась и пошла, а через пару месяцев возмущаться перестала, и разговоры о пенсии потихоньку заглохли.

– Он хорош был еще в институте, – отвечая словно моим мыслям, говорит Толя. – учились у нас болгары, Андрюха с Сашкой решили пошутить – на военной подготовке тоска – послали полковнику рисуночек: домик, солнышко, человечек, написали: се есмь солнце, что-то там еще... Полковник вертел, вертел, дурной был, озлился: кто вам передал? А вам? А вам? – добрался до Андрюхи. Тот спокойно показывает на Сашку. – А вам? – Сашка встает: я писал. Ничего ему не было, конечно...

Только недолго молчит, закуривает.

– А вот когда конспектом он раз Сашкиным пользовался на экзамене и забыл его потом в парте, физичка нашла, велела Сашке пересдавать, стыдила. Андрюха рядом стоял, смеялся, Сашка, знаешь, когда волновался, красный делался, смешной.

Я не смотрю на Толю, он тоже не смотрит на меня, знает, надо немножко подождать. Мы редко говорим о Саше, а если говорим, потом замолкаем надолго, расходимся, занимаемся каждый своим делом.

В этот раз я не ухожу. Я смотрю на Павлика с Кристинкой, думаю, что Кристина должна была родиться у меня, и я воспитала бы ее иначе, от ее пошла бы цепочка немножко других людей. Но потом мне приходит в голову, что и Павлик тогда должен бы родиться у Марины, и тоже была бы другая цепочка, и в конце концов, все бы уравновесилось.

– Он перевел свою «Волгу» на газ, – говорит Толя. – Шестьсот километров на заряд. Шесть рублей, можно сказать, даром ездит...

И я уже знаю, куда теперь пойдет разговор.

– Хорошо сейчас отпуск. – действительно, поворачивает мысль Толя. – А кончится, как возить продукты, лишний раз в город не съездишь, уж не говорю – со всеми вещами выезжать...

Я молчу, все это я знаю. К нашей даче, добираться на которую надо на электричке, теплоходе и автобусе, нужна хоть какая-нибудь машина. Я знаю, Только мечтает об автомобиле, права у него еще со школы, на объекте он самозабвенно разъезжает между домами на «Урале», если только есть случай что-то куда-то перевезти.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.